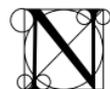


МАКСИМ
ГОРЬКИЙ

НА ДНЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

МАКАР ЧУДРА

С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя, окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана, — он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полужелал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову и мертво молчавшую темноту

степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и все!

Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «Так и надо». — Эге! А тебе что до того? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...

Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько. — Он широко повел рукой на степь. — И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по

нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, — дураком.

Что ж, он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю жизнь раб, и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

А я, вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем я живу на свете?» — помыслил я со скуки, — скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спра-

шивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, и он даст тебе все, что попросишь у него. А сам он весь в дырках, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже — учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучащий — пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темнокарих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

— Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо — не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее — и умерла воля в твоём сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать — нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни, и как запомнишь — век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его, — удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то, наверно бы, крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла — это уж как раз!

И все таборы его знали или слышали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поедит да и продаст, а деньги кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

Наш табор кочевал в то время по Буковине, — это годов десять назад тому. Раз — ночью весенней — сидим мы: я, Данило-солдат, что с Кошутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну а Радду с ней равнять нельзя — много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку как свою душу знает.

Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния, сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, — важный был господарь старый! Смотрел, смотрел да и говорит Радде: «Гей! Поцелуй, ко-

шель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только! «Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой», — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.

— Эх, девка! — охнул он, да и плетью по коню — только пыль взвилась тучей.

А на другой день снова явился. «Кто ее отец?» — громом гремит по табору. Данило вышел. «Продай дочь, что хочешь возьми!» А Данило и скажи ему: «Это только паны продают все, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутом воевал и ничем не торгую!» Взревел было тот да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись да и пошли. День идем и два, смотрим — догнал! Гей вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: все поделю с вами, богат я сильно! Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

— А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

Засмеялся Данило и все мы с ним.

— Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи — те податливей. — И пошли мы вперед.

А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

Да! Так вот, раз ночью сидим мы и слышим — музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так — царями над всей землей, сокол!

Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь смотрит на нас.

— Эге, Зобар, да это ты! — крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это

не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?» А тот смеется: «Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну да я умею смычок в руках держать!»

Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но — не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: «А еще говорили, что Зобар умен и ловок, — вот лгут люди!» — и пошла прочь.

— Эге, красавица, у тебя остры зубы! — сверкнул очами Лойко, слезая с коня. — Здравствуйте, братья! Вот и я к вам!

— Просим гостя! — сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, раз-

ве Лойко не стоил Радды? Ну уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадыарскую понимал. Бывало, пойдет говорить — век бы не спал, слушал его! А играет — убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком — и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз — и замрет оно, слушая, а он играет и улыбається. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг — гей! Гроном гремит вольная, живая песня, и само солнце того и гляди затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

Каждая жила в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: «В ножи, товарищи!» — то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы

он. Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли б только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становится между ними нельзя — изувечат. Так и шло дело.

Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: «Спой, Зобар, песенку, повесели душу!» Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!

Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей-гоп, гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед?!
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу-луну!

Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит:

— Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь да — в лужу носом, усы запачкаешь, смотри. — Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал — стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!

— Это песня! — сказал Данило. — Никогда не слышал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

— Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая, — сказала она, точно снегом в нас кинула.

— Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку да и говорит, весь черный, как земля:

— Стой, Данило! Горячему коню — стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

— Вот сказал речь! — усмехнулся Данило. — Да возьми, коли можешь!

— Добро! — молвил Лойко и говорит Радде: — Ну, девушка, послушай меня немного да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно б было!.. Беру тебя в жены перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу! — И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку, — вот, дураем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь за тылком — грох!..

Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги да и дернула к себе, — вот отчего упал Лойко.

И снова уж лежит девка не шевелясь да усмежается молча. Мы смотрим, что будет, а Лой-